

СЕРГЕЙ ТАРАНЕНКО



ОПИСЬ ПРОПУЩЕННОГО

П О В Е С Т Ь



Сергей Тараненко

Опись пропущенного

<https://litres.ru/74359317>

SelfPub; 2026

Аннотация

В мире, где перестали умирать, остановилось всё. Только солнце ещё движется по небу — и один человек, который искал бессмертие и нашёл его. Ансельм сидит на пороге мёртвого города и год за годом перечисляет то, что пропустил: часы у постели матери, тысячи стуков в дверь, жизнь дочери, которую он не заметил. Его опись — не книга сожалений, а последнее ремесло человека, который учится отпускать. Философская повесть-притча о том, что бессмертие без внимания к жизни — не дар, а проклятие.

Содержание

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ	4
ГЛАВА ПЕРВАЯ	5
ГЛАВА ВТОРАЯ	11
ГЛАВА ТРЕТЬЯ	16
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ	21
ГЛАВА ПЯТАЯ	26
Конец ознакомительного фрагмента.	29

Опись пропущенного

*Успеть — это не «потом». Успеть — это
«сейчас» или никогда.*

*магистр Ойн, торговец бессмертием, Гэrsa,
Стеклодуvная улица, второй дом от угла*

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

СОЛЬ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Порог

Свет приходит на стену дома напротив всегда одним и тем же путём.

Он начинается у водосточной трубы, где кирпич выщерблен и держит тень дольше остального, потом медленно, как будто нехотя, сползает по кладке вниз, задевает железное кольцо, к которому когда-то привязывали лошадей, и ложится на порог — ровным, тёплым, ничего не значащим прямоугольником. Так было вчера. Так будет завтра. Так было все девятьсот шестьдесят семь лет, что Ансельм сидит на этом пороге и смотрит.

Солнце — единственное, что в этом мире ещё умеет двигаться, кроме него самого. Ансельм давно подозревает, что солнце просто далеко: беда не дотянулась до него, у беды не хватило рук. Всё остальное стоит.

Стоит пыль. Не оседает, не поднимается — висит в воздухе тонкой золотой взвесью на той высоте, на которой её застало, и если провести сквозь неё ладонью, она разойдётся и останется разведённой, с чистой прорехой по форме ладони, навсегда. Ансельм больше не проводит. В первые сто лет

он прорезал в воздухе улицы целые узоры, писал слова, которые никто не прочтёт, а потом однажды посмотрел на них с крыши и увидел, что весь город исчёркан следами его скуки, как стена в казарме, и с тех пор ходит осторожно, боком, стараясь не тревожить.

Стоит река. Сенья остановилась в шестьдесят третьем году — не высохла, не замёрзла, просто перестала течь, и вода в ней сделалась стеклом, в котором до сих пор висит, наклонившись, отражение старого моста и одна щепка, застигнутая на середине поворота. Рыбы в ней тоже стоят. Они смотрят.

Стоит бельё во дворе у Брасов — три рубахи и простыня, вздутые последним порывом ветра и с тех пор так и вздутые, окаменевшие в форме воздуха, которого больше нет.

И стоят люди.

Их в Ольме четыреста двенадцать. Ансельм пересчитывал восемь раз за девять веков и всегда получал одно и то же число, но всё равно иногда пересчитывает — не чтобы проверить, а чтобы что-нибудь делать руками. Они не мертвы. Это первое, что нужно понять про них, и это то, чего он не мог объяснить самому себе сорок лет подряд, пока не перестал пытаться. Они тёплые. Если приложить ухо к груди пекаря Браса, слышно, как в нём медленно, раз в четверть часа, поворачивается сердце — один тяжёлый оборот, будто жёрнов, который толкают через силу. Глаза у них открыты, и зрачки сужаются, когда солнце доходит до лица. Они про-

сто больше не тратятся. У них не осталось ничего, что они могли бы отпустить, а всякое движение — это когда что-то отпускают, и вот они стоят, каждый в той позе, в которой у него кончилось последнее.

Брас стоит у своей печи, наклонившись, с рукой, протянутой к заслонке. Печь холодная девятьсот пятьдесят семь лет. Он тянется к ней уже семьсот одиннадцать.

Никас стоит посреди двора мастерской, в шаге от порога, повернув голову вбок, будто его окликнули. Никого не было. Ансельм проверял.

А в одиннадцати шагах от того места, где сидит Ансельм, у самого угла, где кончается тень и начинается свет, стоит женщина с синими руками.

Он не подходит к ней.

Одиннадцать шагов — Ансельм измерял их своим шагом, шагом Никаса, длиной верёвки, длиной собственной тени в полдень середины лета. Одиннадцать. Не десять и не двенадцать. Число это он знает так же хорошо, как своё имя, — а своё имя он знает лучше всего на свете, потому что подписал им сорок один год бумаг, шесть тысяч четыреста листов, и оно въелось в него, как краска въелась в её пальцы.

Её имя он произносит один раз в год.

Это правило. У Ансельма немного правил, потому что немного осталось вещей, к которым правила можно применить, но это — главное, и он держит его семьсот лет.

Вспоминать можно один раз в год.

Он открыл это не сразу. Первые двести лет он вспоминал жадно, безостановочно, как пьют из ковша, — ему казалось, что память бесконечна, потому что она ничего не весит и ничего не стоит. Он ошибался. Память — единственное вещество в этом мире, которое ещё способно портиться, потому что она единственное вещество, которое находится внутри него, а внутри него, единственного во всём мире, ещё идёт время. Каждый раз, когда он доставал воспоминание и разворачивал его, оно делалось чуть тоньше. Не бледнее — тоньше. Как ткань, которую слишком часто стирали: цвет держится, а рука проходит насквозь.

К двухсотому году он истёр лицо матери. Он помнит, что у неё был широкий лоб, что левая бровь была выше правой, что она пахла дымом и мокрой шерстью, что она смеялась беззвучно, одними плечами, — он помнит всё это словами. Он может это сказать. Он не может это увидеть. Между «я помню, что у неё был широкий лоб» и лбом матери легло девятьсот лет, и это разные вещи, и он выменял вторую на первую по собственной глупости, сам, добровольно, за двести лет ненасытного нежного разглядывания.

С тех пор он экономит.

Один раз в год он садится на этот порог, разрешает себе достать одно — одно — и смотрит на него столько, сколько нужно, чтобы оно опять сделалось живым, и потом убирает.

Сегодня тысяча восьмой год.

Он считает годы от того вечера, а не от кристалла, — так

честнее. Вечер был началом; кристалл был только тем, чем всё кончилось. Тысяча восемь лет назад в комнате с низким потолком сидел молодой человек двадцати трёх лет, и с ним произошло то, что он потом всю жизнь называл про себя решением, а следовало бы называть попаданием — как попадают под дождь или под колесо.

Ансельм разглаживает на коленях свёрнутый лист. Бумага не желтеет. Чернила не выцветают. Он мог бы записать всё, и он всё записал — в доме за его спиной стоят на полках сто девятнадцать переплётённых тетрадей, безупречно сохранных, и в них подробнейше, день за днём, описана вся его жизнь: что было, кто говорил, во что был одет, чем пахло. Он ходил вдоль этих полок в четырёхсотом году, снимал наугад, читал вслух в неподвижный воздух и не чувствовал ничего. Ничего. Там написано: «мать пахла дымом и мокрой шерстью». Прочтите это себе. Вот что у него осталось на полках. Сто девятнадцать томов чужой жизни, изложенной точно.

Лист на коленях — другой. Это не тетрадь. Это опись.

Он начал её в триста двенадцатом году, когда понял, чем занят на самом деле, и с тех пор она не выросла и не сократилась. В ней нет того, что он помнит. В ней перечислено то, что он пропустил.

Он ведёт её потому, что это единственная работа, которая ему осталась, и потому, что человек, который сорок один год вёл лабораторный журнал, не умеет иначе. И ещё потому — но это он признал не сразу, — что каждый пункт описи есть

место, где он когда-то стоял рядом с чем-то живым и не посмотрел, и опись, таким образом, есть карта. Карта его настоящей жизни, вычерченная по пустотам, как русло чертят по берегам.

Солнце доходит до железного кольца.

Ансельм смотрит на женщину в одиннадцати шагах. Синева на её руках — не краска, а её цвет; она красила шерсть тридцать лет, и вайда съела кожу до самой сути, до того слоя, который уже не отмывается и не сходит. Кисти рук у неё подняты к груди, ладонями внутрь, чуть-чуть, как держат что-то маленькое и тёплое. В них ничего нет. Он смотрел.

Она шла к нему. Это он знает. Дом её был за спиной, мастерская — правее, а идти этой дорогой в этот угол можно было только к нему, и она прошла три четверти пути и там кончилась.

— Аста, — говорит Ансельм.

Он произнёс имя. Год начался.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Обмывальня

Мать звали Тавия, и она обмывала мёртвых.

В Ольме это была работа как работа, не хуже прочих: кто-то печёт, кто-то красит, кто-то правит колёса, а кто-то принимает тело и возвращает его людям в том виде, в каком его не стыдно отпустить. Платили немного и всегда сразу, не торгуясь, — с обмывальщицей не торгуются. Уважали её тем особым уважением, в котором ровно половина — желание отойти подальше.

Обмывальня стояла на низком берегу, у самой воды, потому что воды нужно было много. Одна комната, каменный пол с уклоном к жёлобу, два стола, на стене — крючья, на крючьях — холст. И полка с солью.

Соль была серая, крупная, с прозеленью, её привозили с восточных варниц, и она стоила дороже той, что кладут в котёл. Тавия хранила её в трёх глиняных банках и брала мерной ложкой, всегда одинаково, всегда молча. Она натирала ею живот и грудь, втирала под мышки и в пах, засыпала рот. Соль вытягивает воду, а вода — то, чем начинается порча; это Ансельм узнал раньше, чем узнал, откуда берутся дети.

Ему было семь, когда мать впервые дала ему в руки холст и сказала: держи под лопатками.

Мальчика звали Мирко, он был сыном перевозчика и утонул выше по течению, где Сенья делает петлю и обманчиво мелка на вид. Ансельм играл с ним три дня назад в бабки и проиграл ему нож. Теперь Мирко лежал на столе, и Ансельм держал его под лопатками, и первое, что он понял в жизни по-настоящему, было — тяжесть.

— Тяжёлый, — сказал он.

— Мёртвые тяжелее, — сказала мать. — Всегда.

— Почему? Он же не съел ничего.

Тавия отжала холст. У неё были короткие крепкие руки, красные до локтя от холодной воды.

— Потому что из него вышло то, что его держало, — сказала она. — Пока держит — легко. Вышло — весь вес твой.

Ансельм думал об этой фразе тысячу восемь лет и до сих пор не знает, сказала ли она глупость или сказала всё.

Он вырос в этой комнате. Он знал наизусть, как выглядит человек изнутри своей смерти: как за первые часы уходит краска с губ и приходит на спину, в те места, где тело лежит на столе; как к утру пальцы делаются твёрдыми, а к следующему вечеру снова мягкими, и это вторая мягкость, не похожая на первую, — ложная, отпустившая. Он знал запах на второй день и запах на третий. Он знал, что старики уходят суше, а молодые — обильнее, и что зимой у матери работы меньше, но она тяжелее, потому что мёрзнут руки.

И он знал вот что, и это оказалось важнее всего остального: обмывальня была весёлым местом.

Никто в это не верит, а между тем это правда. Люди приходили за телом, и с ними надо было говорить, и Тавия говорила — ровно, буднично, без вздохов, — и от её будничности им делалось легче, чем от любого утешения. Она говорила: «Хорошо получилось, посмотрите, какое лицо». Она говорила: «Он у вас был красивый мужчина, ну и остался». Она подкладывала под подбородок скатанный холст, чтобы рот не открывался, и это простое ремесленное движение вправляло людям что-то внутри. Приходили соседки, приносили хлеб, садились на порог обмывальни и сплетничали, пока Тавия работала, и мёртвый лежал тут же, и это никого не смущало, потому что он был свой и никуда не спешил. Ансельм помнит — помнит словами, но точными, — как одна женщина хохотала до слёз над историей про козу, стоя в двух шагах от собственного мужа под холстом, и это не было бесчувствием, это было ровно наоборот: это был единственный способ пронести такое на руках.

Смерть в Ольме была громоздкой, мокрой, хлопотной домашней работой. Её делали руками. У неё был вес, запах и свой инструмент.

Позже, много позже, Ансельм пробовал понять, что именно сделало из него того, кем он стал, и всегда упирался в один вечер.

Ему было двенадцать. Умер старик по прозвищу Дудка,

живший через два двора, бездетный, ничей. Он лежал под холстом, обмытый и посоленный, и никто за ним не пришёл — то есть пришли, конечно, наутро, староста и двое, но в тот вечер он лежал один. И Ансельм, вместо того чтобы уйти домой, сел на низкий табурет у стола и стал думать.

Он думал так. Вот человек. Он был. Он семьдесят лет ходил по этим улицам, у него внутри было всё то же самое, что у Ансельма внутри: вечера, обиды, каша, чья-то рука, голос матери, страх темноты, первый снег, тот раз, когда его хвалили. Огромный склад. Огромный, тёплый, набитый доверху склад, который собирали семьдесят лет.

И теперь его нет.

Не «он ушёл в лучшее место» — Ансельм видел слишком много тел, чтобы верить, что оттуда что-то уходит; он видел, как оно там просто заканчивается. Не «он остался в памяти» — на завтра выяснилось, что никто в Ольме не помнит даже, как Дудку звали по-настоящему, и на камень положили прозвище.

Просто нет. Семьдесят лет собирали — и в одну ночь всё вынесли, и комната пустая.

Ансельм сидел на табурете, и его начало трясти. Не от страха смерти — своей смерти он тогда ещё не умел вообразить, дети не умеют. Его трясло от масштаба потери. Он вдруг увидел всех сразу: и мать, и Мирко, и Дудку, и тех безымянных, чьи имена стёрлись с камней на верхнем кладбище, и тех, кто был до них, и тех, кто был до тех, — поко-

ление за поколением, склад за складом, и все вынесены. Тысячи лет люди наполнялись доверху и опустошались, наполнялись и опустошались. Кто-то оставил после себя мост или песню. Большинство не оставило ничего, кроме вмятины в земле там, где стояла нога.

Он вышел из обмывальни на берег. Было начало осени, вода стояла высоко и шла быстро, пахло тиной и дымом, и с того берега кто-то звал скотину.

И Ансельм, двенадцати лет, подумал одну мысль, которая потом сделала с миром всё.

Он подумал: это неправильно устроено.

Не «это грустно». Не «такова жизнь». Именно — неправильно устроено, как бывает неправильно устроен замок, который заедает, или колесо, которое бьёт. Ошибка в работе. А если ошибка в работе, то её кто-то допустил, а если её кто-то допустил, то её можно найти и выправить.

Он пошёл домой. Мать варила кашу. Он ел и молчал и был совершенно счастлив, потому что впервые в жизни у него было дело.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Вечер

Тысяча восемь лет назад был четверг.

Ансельм знает это не потому, что помнит, а потому, что вычислил потом, в шестьдесят восьмом году, от нечего делать, по трём праздникам и одной ярмарке; и знание это совершенно бесполезно, и он бережёт его, как берегут билет на давно ушедший корабль.

Ему было двадцать три года. Он вернулся в Ольму из Гэрсы месяцем раньше, злой и пустой, потому что семь лет учения у магистра Ойна кончились ничем, и он ещё не понимал, что ничем они не кончились.

Комната была под крышей, у столяра Мехта, за четыре медяка в месяц. Низкий потолок со скосом, так что у окна нельзя было выпрямиться. Стол. Тюфяк. Ящик с книгами. Одно окно на запад — плохое окно, летом в нём стояла духота, зато оно давало вечерний свет, а больше в нём ничего хорошего не было.

Он сидел за столом и переписывал набело чужой рецепт мази от чесотки, за что ему обещали восемь медяков. Он был должен Мехту за два месяца. Он был никто: недоучка, сын

обмывальщицы, вернувшийся домой в двадцать три года без ремесла и без денег, и весь город это знал, и мать делала вид, что не знает.

Потом солнце опустилось до края крыши дома напротив, и свет вошёл в окно.

Вот что произошло, и Ансельм рассказывает это сам себе тысячу восемь лет, и в каком-то смысле вся его жизнь была одной длинной, всё более безуспешной попыткой рассказать это точно.

Свет вошёл в окно и лёг на стол, на левую руку и на испи-санный лист. Он был красноватый и очень плотный — такой бывает в конце сентября, когда воздух уже холодный, а солнце ещё летнее, и луч в нём виден весь, целиком, от рамы до стола, потому что в нём стоит пыль от дороги и от стружки снизу, из мастерской. Ансельм поднял голову.

И увидел пыль.

Она была живая. Она поворачивалась. Тысячи крохотных точек, и каждая шла своим путём, и весь этот столб медленно, торжественно вращался, потому что где-то в комнате был сквозняк, которого Ансельм не чувствовал, но который делал вот это. Он смотрел, как одна светлая крупинка выходит из тени, вспыхивает, идёт по дуге через весь луч и гаснет за краем, уйдя в тень. Он смотрел, как за ней идёт следующая.

Потом ветер тронул раму, и в комнату вошёл воздух с улицы, холодный, с запахом мокрой пыли и печного дыма и, откуда-то, яблок. Занавеска — серая тряпка на верёвке — на-

дулась и опала.

И Ансельм вдохнул.

Он вдохнул, и его ударило.

Он вдруг понял — не подумал, а понял всем телом, как понимают, что падают, — что вот прямо сейчас с ним происходит нечто совершенно невероятное. Что он сидит внутри чуда такой густоты, что его невозможно вынести. Что воздух входит в него и выходит и от этого он живёт, и он ничего не сделал, чтобы это заслужить, и никто не спрашивал его согласия, и это просто дано, каждую секунду, бесплатно, тридцать тысяч раз в сутки: вдох. Что свет проделал путь, о котором никто ничего не знает, и пришёл сюда, в комнату под крышей у столяра Мехта, чтобы лечь на его левую руку и подсветить волоски на ней. Что ветер — сама возможность того, что воздух куда-то идёт, — существует.

И что всё это у него отнимут.

Не когда-нибудь, а обязательно; и не только у него — у всех; и уже отняли у Мирко, и у Дудки, и у тех, чьи имена стёрлись, и отнимут у матери, которая сейчас, вот сию минуту, в трёхстах шагах отсюда, стоит над чьим-то телом с ложкой серой соли в руке.

Ансельм заплакал. Ему было двадцать три года, он не плакал с двенадцати лет и потом не плакал ещё шестьсот, и вот тут он сидел и плакал над чужим рецептом мази от чесотки, беззвучно, размазывая свежие чернила, потому что жалко было всего.

Жалко было пыли в луче. Жалко было тепла на руке. Жалко было того, что запах яблок откуда-то пришёл и сейчас уйдёт и уже уходит, и он не успевает, не успевает его как следует взять.

И вот тут — вот в этой самой точке, и Ансельм за тысячу лет разглядел эту точку так подробно, как разглядывают под лупой трещину в кости, — вот тут он совершил свою единственную настоящую ошибку.

Он встал.

Он должен был сидеть. Ему было дано всё: свет, ветер, вдох, запах яблок, вечер четверга, двадцать три года и целая жизнь впереди, чтобы смотреть, — ему дали полную чашу, и от полноты у него потекло через край. Ему надо было остаться и досмотреть. Луч стоял ещё минут двадцать, а потом лёг на подоконник, а потом ушёл на потолок и покраснел, и это тоже стоило видеть, и он этого не видел.

Он встал, зажёл сальную плошку, сдвинул чужой рецепт и взял чистый лист.

Потому что горе такой силы человек не может просто нести; человеку надо немедленно что-нибудь с ним сделать. И Ансельм сделал единственное, что умел: он превратил его в задачу.

Наверху листа он написал:

«Порча начинается с воды. Соль вытягивает воду. Соль недостаточна, ибо вытягивает не всё. Найти то, что удерживает всё».

Он смотрел на эту строчку. Она была бледная, глупая, ученическая, из неё торчали во все стороны ошибки, и в ней уже целиком лежало то, что случится с миром.

Ниже он написал, помедлив:

«Я не хочу это потерять».

Это была последняя фраза, которую он в жизни написал от себя. Всё остальное — сорок один год, шесть тысяч четырёхста листов — было писано не от себя, а от дела.

Он подписался. Ансельм, сын Тавии. Он подписывался так же на всех шести тысячах четырёхстах листах, до самого конца, до последнего, где стояла одна строка и дата.

Потом он задул плашку и лёг, и уснул сразу, счастливый до дрожи, как бывает счастлив человек, у которого только что появилось направление.

Он проспал остаток вечера. Он проспал следующие сорок один год.

И вот что Ансельм понял на восьмисотом году, сидя на пороге и глядя в стоячий свет, и это понимание было хуже всего, что случилось с ним до и после.

Он не забыл о своём обете. Он держал его безупречно, каждый день, все сорок один год: он ни разу не изменил цели, ни разу не свернул, ни разу не потратил на себя того, что мог потратить на дело. Он был верен вдоху, лучу и порыву ветра, как рыцарь бывает верен даме.

Только он больше ни разу их не заметил.

ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ

Магистр Ойн

В Гэрсу его отправила мать. Она копила на это шесть лет и никогда об этом не говорила, а когда Ансельм узнал сумму, было уже поздно спрашивать, откуда.

Магистр Ойн держал дом на Стеклодувной улице, второй от угла, с медной вывеской, на которой было выбито слово, ничего не означавшее ни на одном языке. Ойн был толст, весел, лыс, ходил в халате поверх халата и продавал состоятельным людям Гэрсы настойку, которая, по его словам, отдаляла старость.

Настойка была из мёда, ревения, толчёного янтаря и одной капли ртути на бутылъ — ровно столько, чтобы человек почувствовал во рту металл и уверился, что средство сильное. Ойн разливал её сам, приговаривая, и надписывал этикетки красивым круглым почерком, и брал за бутылъ столько, сколько стоила корова.

— Это обман, — сказал ему Ансельм на седьмой день.

— Разумеется, — сказал Ойн, не оборачиваясь. — Подай воронку.

Он ничего не скрывал. В этом было что-то настолько бес-

стыдное, что Ансельм остался.

И семь лет Ойн учил его — по-настоящему, жёстко, не жалея, — всему, что знал сам, а знал он много. Как тянуть стекло и как отжигать его, чтобы не лопнуло на третий день. Как строить печь с двумя тягами. Как выпаривать досуха, не пережигая. Как отличить возгонку от осадка и почему нельзя доверять первому, что выпало. Как вести журнал: дата, погода, вес до, вес после, что видел глазами, отдельно — что подумал; и никогда, никогда не путать первое со вторым, ибо человек, который записывает свои мысли в графу наблюдений, — не работник, а поэт, и пусть идёт к поэтам.

Ансельм оказался хорош. Он оказался лучше, чем хорош: у него была та единственная вещь, которой нельзя научить, — тяжёлое, тупое, ослиное упрямство внимания. Он мог семьдесят раз подряд повторить один и тот же опыт и на семьдесят первый заметить, что во второй раз пламя было чуть выше. Ойн смотрел на это с удовольствием и с чем-то ещё, чего Ансельм тогда не разобрал, а разобрал только на четырёхсотом году: с жалостью.

Ссора вышла весной, перед самым концом, из-за настойки.

Ансельм сказал, что уходит и что не может больше держать воронку над бутылками с враньём, что за этой дверью люди умирают по-настоящему, а Ойн берёт с них корову за мёд с ревенём.

Ойн поставил бутыль. Вытер руки. Он не рассердился, и

это было хуже всего.

— Скажи мне, — сказал он, — какого цвета занавеска в твоей комнате?

Ансельм молчал.

— Ты живёшь в ней семь лет, — сказал Ойн. — Не в моей. В своей. Какого цвета?

— Какая разница.

— Есть окно?

— Есть, — сказал Ансельм. — Кажется, есть. Да, есть.

— Куда выходит?

Ансельм не знал. Он входил туда затемно и валился спать, и уходил затемно, и семь лет прожил в комнате, о которой мог сказать только, что в ней есть тюфяк и что зимой от стены тянет.

Ойн кивнул, как кивают, когда опыт подтвердился.

— Вот в чём мой обман, мальчик, — сказал он мирно. — Не в реване. Ревень честный. Обман в том, что я продаю им время, а они не умеют тратить и то, которое у них есть. Ко мне ходит откупщик Барда. Ему пятьдесят один. Он покупает у меня по бутылки в месяц, чтобы прожить лишних двадцать лет. Как ты думаешь, чем он занят те годы, что у него уже есть? Он их не видит. Он сидит в них, как ты в своей комнате, — затемно вошёл, затемно вышел, а какого цвета занавеска, не знает. Я продаю ему двадцать лет темноты по цене коровы, и он счастлив, и я счастлив, и никто, заметь, никто не в убытке.

— Значит, надо не продавать им годы, — сказал Ансельм.
— Надо действительно их дать. По-настоящему. Тогда они успеют посмотреть.

Ойн засмеялся. Он смеялся долго, всем животом, вытирая глаза краем халата, и в смехе не было ни капли злости, а была одна усталая нежность, и потому этот смех Ансельм не мог простить ему шестьсот лет.

— Ох, — сказал Ойн наконец. — Ох. Милый мой. Успеть — это не «потом». Успеть — это «сейчас» или никогда. Ты можешь дать человеку тысячу лет; если он не умеет смотреть в четверг вечером, он не научится этому за тысячу лет, он просто не будет смотреть тысячу лет вместо сорока.

— Это удобная мысль для человека, который решил ничего не делать, — сказал Ансельм.

Он до сих пор считает, что ответил хорошо.

Ойн перестал смеяться и посмотрел на него внимательно, без всякого веселья, и в первый и последний раз за семь лет Ансельм увидел, что старик стар.

— Моя жена умерла шестнадцать лет назад, — сказал Ойн. — Её звали Мале. Хочешь, скажу тебе, что я помню лучше всего? Не свадьбу. Не то, как она болела. Один вторник. Мы сидели во дворе, чистили орехи, она рассказывала про соседку, я не слушал, а потом посмотрел на её руки. И всё. Вот это у меня есть. Один вторник, руки и скорлупа. Всё остальное я прожил, но не взял.

Он снова взялся за бутыль.

— Иди. Ты будешь хороший мастер. Только запомни, из чего сделан твой обман, чтобы потом узнать его в лицо.

Ансельм ушёл через два дня и не попрощался.

Он вспоминал этот разговор четыре или пять раз за следующие сорок лет — всегда мельком, всегда с раздражением, как вспоминают о старом долге, который платить не собираешься. Он думал: жирный болтун, оправдывающий свою праздность. Он думал: старик утешает себя тем, что не сделал.

В четыреста двадцатом году Ансельм дошёл до Гэрсы пешком. Идти было три месяца, спешить некуда. Стеклодувная улица стояла целая, вторая от угла — дом с медной вывеской. Внутри, у стола, стоял очень старый толстый человек в халате поверх халата, и в поднятой руке у него была воронка, и лицо у него было доброе и пустое, и в нём давно уже не было никакого времени.

Ансельм просидел у него до вечера. Потом сказал вслух: — Занавеска была синяя.

Она и была синяя. Он вспомнил это в двести шестнадцатом году, ни с того ни с сего, стоя посреди улицы, и потом внёс её в опись отдельным пунктом — единственным, который не про потерю.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Две ладони

Красильни в Ольме стояли ниже по течению, за обмывальней, потому что и тем и другим нужна была вода, и потому что и тех и других селили подальше — от красилен несло мочой и вайдой на полгорода.

Аста была четвёртой дочерью красильщика Гуна и работала у отца с одиннадцати лет.

Ансельм увидел её осенью пятого года — он вёл счёт годам от вечера с самого начала, это была его первая странность, и в Ольме к ней привыкли раньше, чем ко всем остальным. Ему было двадцать восемь. Ей двадцать один.

Он пришёл в красильню за щёлоком. Она стояла у чана, спиной, по локоть в синем, и вынимала моток, и мокрая шерсть выходила из чана зелёной.

Он остановился. Он знал, что вайда даёт синий; всякий это знал; и всё-таки шерсть выходила зелёной и на воздухе, медленно, за десять или двенадцать вдохов, поворачивалась в синь, будто внутри неё что-то решалось.

— Почему зелёная? — спросил он.

Аста обернулась через плечо. Потом, не торопясь, дове-

сила моток на жердь.

— Потому что торопыга, — сказала она мотку.

— Я спросил серьёзно.

— И я. — Она отжала руки. — Синего в чане нет. В чане жёлто-зелёная муть. Синий делается уже здесь, на воздухе. Пока она в чане — она ещё не решила.

— Это воздух, — сказал Ансельм. — Это соединение с воздухом.

— Ну, значит, воздух, — согласилась Аста. — Мне-то что. Я знаю, что если вынуть и сразу повесить — будет ровно, а если положить в кучу — будет пятнами. Я это знаю руками, а как оно называется — знай ты.

Так они и разговаривали потом сорок лет.

Он приходил за щёлоком чаще, чем требовалось. Она была невысокая, широкая в кости, с толстой светлой косой и очень спокойным лицом, из тех лиц, которые не считаются красивыми до тех пор, пока не станут единственными. Руки у неё были синие до второй фаланги, и синева не сходила: за зиму бледнела до серого, а к весне снова набирала цвет.

В седьмом году она пришла к нему сама. Просто поднялась по лестнице к столяру Мехту и постучала.

Два раза. Не три и не один. Два коротких, близко поставленных удара костяшкой — так, как стучат, когда точно знают, что откроют.

Он открыл. Она посмотрела на его стол, заваленный листами, на весы, на плоски, на кучу битого стекла в углу, ни-

чего не сказала про это, а сказала:

— Внизу дождь. Ты второй день не ел.

— Ел.

— Мехт говорит, не ел.

Она принесла хлеб, лук и половину варёной курицы в тряпке. Она села на его тюфяк, потому что стула не было, и пока он ел, разглядывала стены, и ей это было интересно, а не смешно; она вообще не умела смеяться над тем, чего не понимала, — редчайшее свойство, за которое он не поблагодарил её ни разу.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.